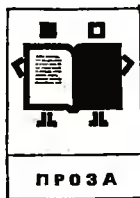




Олег
КУВАЕВ

ДВА РАССКАЗА

Рисунок
Н. ВОРОБЬЕВА.



надо курлыкать

Наверное, телеграммы «до востребования» сюда приходили редко. Поэтому ее положили на подоконник — на видное место, чтобы не забыть и сразу вручить. За месяц телеграмма выцвела, и потому гриф «срочная» и текст воспринимались с неуместным и мрачным юмором. Г. П. Никитенко сообщал о перерасходе средств «в целом по институту» и предлагал незамедлительно свернуть экспедицию «как утратившую научную перспективу».

...Оба моих лаборанта, которых в Москве давно ждали девушки и вообще грохот истинной жизни, радостно забрались в вагон. Несмотря на юный возраст, они понимали, что при утрате научных перспектив нам вряд ли придется в дальнейшем вместе работать. Поэтому прощание вышло не бодро-экспедиционным, как полагалось, а натянутым и даже фальшивым. Поезд, как мне показалось, тоже облегченно дал сигнал отправления и радостно загромыхал на юг. Подальше от сумрачных ельников и холодных дождей.

Я остался один на путях среди мокрых шпал и липнущего к сапогам песка. Рюкзак мой, сиротливо завалившись набок, лежал на дощатой платформе, куда дежурный по станции выходил встречать поезда.

Дежурный тоже уже ушел.

Было тихо. Вечерело.

Никаких дел на станции у меня не осталось. Я забрал рюкзак и прямоком удалился в лес, который тут же у насыпи и начинался.

Причина моей задержки выглядела никчемной. Но сейчас уж было все одно к одному, сейчас уж неважно. В здешних лесах имелась одна деревушка, о которой, кроме районного начальства да родственников, живущих в ней, наверное, мало кто знал. Стояла она на реке несудоходной и непригодной для сплава леса. Потому и рекой никто не интересовался. Но близ устья той реки имелось несколько островов.

По слухам, на голом граните островов, среди холодного моря, рос лес невиданной мощи и жизнестойкости. Вот на него я и хотел посмотреть.

Попасть на острова по осеннему времени можно было только из лесной деревушки. Взять у кого-нибудь карбас и сплавать.

Еще утром я мечтал осмотреть островной лес с сугубо научными целями. А сейчас, наверное, двигался по инерции или для фиксирования конечной точки научной карьеры, вроде как отметить командировку «прибыл — убыл».

В глазах Г. П. Никитенко, жены и своих собственных я давно уже превратился в унылого научного неудачника. Есть неудачники яростные. Для них мир делится на врагов и друзей. Враги их обходят, зажимают, «ставят им стенку». А они им «заделывают инфаркт» по телефону, «снимают скальп» на конференциях и «бросают через бедро» в коридорной беседе. Друзья им сочувствуют. Унылый же неудачник как бы специально существует для ведомственных кризисов, когда вдруг вспоминают его фамилию.

Он безрогий козел отпущения науки. Существует определенный предел, после которого унылый

неудачник как бы переходит черту и становится такой же привычной деталью, как вход в учреждение. В нем прорезаются месткомовские или иные таланты, и он спокойно живет до пенсии, не обделяемый премиями в красные даты и благодарностями в приказах по случаю юбилеев. Я этого предела не достиг, и потому после телеграммы выход был только один: статья КЗОТ 46 «по собственному желанию».

В сорок лет всякие там порывы уже позади. Остаются мужчине работа и быт. Без работы с моей профессией я не останусь: в любой дыре государства меня ждут не дождутся, а быт, как я понял давно, удобнее всего предоставить собственному течению.

И бог с ней, с наукой, черт с ней, с романтикой познания тайн природы!

Всего семь лет назад я спокойно копался в шокшинских лесах, восстанавливал рубки кедра военных лет и писал незамысловатые статьи о связи почвенных микроэлементов и продуктивности леса. Слова «хобби» тогда еще не знали, но работа над статьями мне нравилась. Потом случилась Большая Научная Ревизия, косуля на вертеле, «сильный коньяк», и Г. П. Никитенко пригласил меня в институт. Ни он, ни жена моя, мечтающая стать женой академика, ни сам я, обуреваемый честолюбием, сразу не заметили, что, наверное, свой научный потенциал я исчерпал в тех самых статьях. Семь бесплодных лет это с ясностью показали. И уж, во всяком случае, разъяснили смысл слов «проза жизни».

...Перебирая все это, шел я от станции вначале ягодными и грибными тропинками, потом просто лесом. Дождь здесь казался слабее. Стук прошедшего товарняка уже был далеким, и на душу сходило успокоение.

Что бы там ни было, а лес я любил до сих пор. Отец-плотник привил мне уважение к простодушной мудрости дерева.

Дождь вдруг стал острее, впереди мелькнул просвет зеленого закатного неба, и я вышел в обширный прошлогодний горельник. Лес в здешних краях не рубили. Он жил, как положено: со свистом рябчиков вдоль малых речек, глухаринными выводками, мхами, ягодниками. Но последние годы все шли и шли пожары. Начинались они в небольшом отдалении от железной дороги. Наверное, стесковавшийся по первозданной природе горожанин приезжал и...

Здесь пожар шел верховой. Деревья-скелеты стояли неестественно прямо. Среди тишины и этой кошмарной четкости мертвого леса дождь казался ядовитым, точно падал из радиоактивного облака. И тотчас в левой половине головы у меня запульсировала жилка, пошел нехороший звон в теле — приступ беспричинного ужаса, особенно страшный, когда я был один. И вдобавок сразу же в поясницу раз-другой стрельнул, вонзился в чепчик радикулит. Я наскоро натянул брезент, служивший вместо палатки, разостлал собачий спальный мешок. Радикулит — наша профессиональная болезнь, с ним я умел обращаться. В поясницу точно садили из автомата, и все пульсировала, билась жилка, преддверие сумасшествия.

И этот звон, звон, точно я стал металлическим и по мне била боль.

Я много бывал один последние годы и потому завел много самодельных теорий. Вот одна. Не помню уж, где я прочел передовую статью о биопотенциалах деревьев. Если установить достаточно точный

датчик, то можно определить, как деревья «узнают» человека.

Допустим, прошел мимо кто-то и просто так тапнул дерево топором. В следующий раз оно отметит проход именно этого человека электрической вспышкой боли и ненависти. Звон и предчувствие сумасшествия у меня появились недавно. Точно я все чаще стал попадать в окружение изуродованных мною деревьев, и их слабый биопотенциал, объединившись, давил на мозг, рождая и жилку, и звон, и беспричинное чувство страха. За что же мне мстили деревья?

Чтобы отвлечься, я стал думать об этих неизвестных мне поджигателях. Но получилось еще хуже. То ли радикулит разыгрывался от злости, то ли злоба усугублялась радикулитом. Я лежал, вцепившись в мешок, и разговаривал сам с собой. Аккуратисты! Пепел в своей проклятой машине на сиденье не стряхнут, газ в своей идиотской квартире выключить не забудут. Наверное, «Литературную газету» выписывают, над оскудением природы вздыхают, умиляются прелестями травки и русских пейзажей, демонстрируя слайды на домашнем экране. Все это замыкается на пугающий в своей простоте вопрос: почему мы столь легки на сочувствие, податливы на «кахни» и столь тяжелы на малое дело? Отчего большинству легче выступить на пяти собраниях с проповедью любви к природе, чем посадить или просто сберечь одно дерево? Затраты энергии ведь в том и другом случае несовместимы. Почему виноват всегда некто абстрактный и «бьяка» живет всегда в другом месте?

И кто в конце концов я-то сам, как не тот же лесной инженер, который не любит смотреть, как щепки летят?

Чуть рассветало, я свернул лагерь. Поясница притихла, и хотелось скорее уйти из мертвого леса. Никогда я не узнаю, где живет, чем занимается тот, кто его поджег в июне прошлого года. Куда он собирается в будущий отпуск? Ладно. Будь проклят и живи дальше!

Сейчас надо все завершать поскорее, уяснить, что научный работник я никакой, и пора возвращаться на производство. Где поближе.

...Я всегда гордился своим умением через десятки километров тайги выйти точно на цель. Но из-за этого звона, жилки проклятой, которая не утихала, что-то во мне разладилось, я начал сомневаться, даже полез в рюкзак за компасом. Но тут вдалеке тенькнуло, вроде затрещал мотор — деревня там. Иду правильно.

Я знал, что увижу два-три десятка старых домов, половина из них заколочены и новых ни одного. Новые в больших лесорубных поселках, где кино, школа, магазины и телевизор по вечерам.

На опушке я точно запнулся. Деревня за неширокой кочковатой поймой открылась вся, сразу. Было ощущение, что когда-то давно дома ее, точно испуганные девчонки, каждая в своем веселом ужасе, вылетели из леса, не чуя ног, промчались по луку к реке и там остановились, рассыпались по берегу. Так они и стояли, может быть, не одну сотню лет. Состарились и лес и дома. Но все-таки помнили тот давний день и веселый испуг, ужас и хохот. Сейчас деревня полыхала рябинами, отблескивала чистыми окнами. Каждый дом стоял отдельно, каждый перекособочился по-своему, и в этом было свое лукавство.

Где-то вверху на реке неторопливо постукивал лодочный слабый мотор.

Он как бы излагал неторопливую повесть житейских осенних хлопот: «Ничего, дорогой товарищ, все идет-катится поменьше, так уж заведено».

Я не выдержал и улыбнулся.

На той стороне реки тоже был лес. Но уже малосильный, не настоящий. Сквозь него зыбко просвечивали пустоты и угадывалось движение обширных масс океана. Там были и мои острова с невиданным лесом.

Стоило подумать про острова, как снова вернулась, запырнула, защелкала жилка.

Когда я подошел к крайней избе, из-за перекошенности, но в веселой синей краске крыльца вышла рыжая собака и трижды гавкнула. Но не на меня, а в избу, вызывая хозяев. После этого собака подошла ко мне, обнюхала колени и, утешительно махнув хвостом, села в сторонке. В сенях тяжело закрипели половицы. Казалось, кто-то нес тяжелый мешок и боялся в темноте оступиться. Распахнулась дверь, и на крыльцо вышла старуха столь могучего роста, что я даже усомнился в реальности происходящего.

Она была в платье из темного ситца, а из-под платья торчали носки литых рыбацких сапог. И лицо у нее было как бы литое, с твердым мужским подбородком. Старуха укрепилась на крыльце, подняла к глазам тяжелую ладонь и так разглядывала меня, точно она была Илья Муромец, а я — хитрый и коварный татарин на горизонте. Собака поднялась и повесела точно в центр тропинки между старухой и мной, как бы уважая хозяйку, но и не нарушая обычай гостеприимства. Лодочный мотор на реке затих, рябины шумно стряхнули воду с огненных листьев.

— Дак пришел, дак зачем под дождем мокнешь? — громко и ехидно спросила старуха.

Мне показалось, что уловил мгновенно мелькнувшую улыбку, и через эту улыбку как бы со стороны увидел и собаку, соблюдавшую дистанцию, и самого себя в обтертой лесной одежде, скрытого под рюкзаком, но с щегольской офицерской сумкой, которая как бы удостоверять мое непростое положение в этих самых лесах.

Старуха повернулась и так же тяжело ушла в избу. Я прошел следом.

В избе пахло печкой, рыбой и сухим деревом. Ясел на лавку. У здешних деревень есть одна особенность, которую вряд ли где в мире встретишь. Они всегда строились в лесу, но на реке и в близости моря. Поэтому повседневный обычай сплел воедино плуг крестьянина, топор лесоруба, рыбацкое знание сетей, прижимных и отгонных ветров, а также разный морской обиход. Вот и сейчас в поле зрения я видел картошку, сваленную для просушки в углу, груды сетей, из-за которых торчал заговорщический глаз прошмыгнувшей за мной собаки, два топора — один с финским прямым, другой с плотничьим топорщиком, — несколько стеклянных оплетенных шаров-поплавок и на стенке две раскрашенные увеличенные фотографии в рамках: brave светлоглазые парни в морской форме, один в бескозырке, другой в офицерской фуражке с «красным».

Собака затаилась в углу, лишь глаз ее доброжелательно поглядывал на меня. Старуха поставила на плиту керосинку, на керосинку чайник. Она двигалась, как монолит, с эдакой размашистой твердостью.

— Ты по делу пришел или так? — стоя ко мне спиной, спросила она.

— На острова требуется попасть. Где карбас можно достать?

— А ведь я, старая, правильно догадалась, — помолчала, сказала старуха. — Вначале думала: еще один за иконами рыщет. А икон-то нету. Уж самовары и то все увезли. Котелки старые, прости господи, забирают... Потом разглядела. Вид у тебя боевой, глаз хмурой. Наверное, мыслю, на острова. Ведь иконы да острова, тем люди нашу деревню и знают. Тебя как зовут-то?

Я сказал.

— Карбаса-то сейчас все в Баб-губе. Пикша на яруса идет. У Андрея, слышал, трещал. Я сбегалю.

— Да не беспокойтесь, я сам.

— Я этот вопрос на ноги поставлю, — хмуро прогрозила она кому-то. — Меня ведь Студенткой зовут. Поди слышал, раз сразу ко мне стопы направили?

— Как Студенткой?

— А вот! — Она села на лавку, как бы приготовившись к долгой беседе, сидела она по-гвардейски прямо. — До войны-то Евдокия была. В войну Патриоткой прозвали. В газете портрет мой был: женщина-патриотка. Так бабы и звали. А теперь повадились студенты ездить. Вначале один, потом двое, а теперь нагрянут, да по полу негде ступить. Так и прозвали: Студентка. Я не спору — обидного нет. Ты море-то знаешь? Сплаваешь?

— Я больше в лесу, — усмехнулся я. — Да сплаваю как-нибудь.

— Прости, господи, старую Евдокию, — сердито сказала она.

Прошла в другую комнату, там зашуршал целлофан. Собака за сетями тихонечко взвизгнула.

— А то я не заметила, как ты прошмыгнул? А то меня, старую, кто омманет, — громко откликнулась Евдокия.

Собака еще взвизгнула и прижалась к дверям. Евдокия вышла в целлофановом мешке, в котором были прорезаны дырки для рук и для лица.

— Чисто буфетчица из окошка выглядываю, — объявила она. — Дождя не боюсь. Ты, милой, с керосинки глаз не своди. Я бегу. Если я пошла — все! — и с этими словами исчезла в дверях.

Вернулась она неожиданно быстро.

— Поставила вопрос, приняла решение. Будем мой карбас спускать. Как я неопытного тебя одного отпущу? Ведь люди осудят!

Я промолчал.

— Ведь три дня как карбас-то вытаскила. Теперь снова спускать. Трудов-то пропало сколько. Не знала, что ты придешь, — по-бабьи пожаловалась она.

— Я заплачу.

— Дак ведь за порог взшел, дак в доме гость. Какие теперь деньги? Опять люди осудят. Нельзя! Вот какое решение: соберу плотик-два на дрова, бензин оправдаю. Мы лес-то на дрова не рубим, плавник на островах собираем да за карбасом плаваем, — пояснила она.

— Я помогу. Вы одна, что ли, живете?

— Без малого девять десятков, как, конечно, одна. Мужа-то скоронила, сыновей в войну оплакала, внуков не успела нажить. Теперь вот студенты молодой голос дадут да табаком избу оживят — рада. Да ведь русски люди кругом, пропасть не дадут.

...Ночью радикулит мой, разогревшись в тепле, зверем прямо вцепился в поясницу. Я ворочался в мешке и тихонько вздыхал, чтобы не разбудить Евдокию. Я и не заметил, когда зажегся свет. Она вышла из горницы в длинной белой рубашке, массивная, точно оживший шкаф.

— У тебя, милой, не спина ли болит? — сонно спросила она.



— Спина-а.

— А чего молчишь? Я ведь днем увидела, что ты со спины пришел. Вылезай из мешка-то.

— Да вы спите,— сказал я.— Дело привычное.

— Дак я спать, ты стонать? Хорошо ли, по-твоему, получится? Я ведь тебя сейчас вылечу.

— Не поможет,— сказал я.— Меня уж на всех курортах лечили.

— Поясница-то — наша болезнь, лесная. Я всех русских людей лечу. Им помогает, а тебе нет?

Она больше не говорила. Поставила лампу на стол, сунула в плиту несколько смолистых полешек. Огонь загудел сразу, тихо и грозно. Евдокия топала по избе, огромная тень ее металась по стенам. Она вышла в сени и бухнула на плиту тяжелый, заполненный опилками таз. За окном была тишина, какая бывает только в спящей деревне, и темнота настолько черная, что, казалось, в окнах не было стекол, был просто провал.

Когда от опилок густо пошел спиртовой и смолистый дух, Евдокия с маху грохнула таз на пол и придвинула стул.

— Садись! Суй ноги! — приказала она.

Я выбрался из мешка и сунул ноги в горячую древесную кашу. Их сразу охватило влагой и жаром.

— Не поможет,— сказал я.

— Молчи! Ты мыслей, мыслей болезнь гони. Из поясницы пойдут в ноги, из ног в опилки. Взамен кверху смола, здоровье побежит.

— Мыслью гнать. По методу йогов,— пошутил я.

— Ёги, поди, тоже русски люди. Дело знают,— не сморгнув глазом, ответила Евдокия.

Я сидел так, наверное, с полчаса. Опилки внизу не остывали, и я слышал, как тепло их действительно поднимается вверх и греет спину. Евдокия принесла мне длинные шерстяные носки. Вынула из шкапчика заткнутую бумажкой бутылку водки.

— Тебе выпить теперь надо, чтобы спутри согреть. Это уж мужики мое лечение дополнили. Да ведь помога-ат!

Она ушла в горницу, вернулась уже в платье, налила водку в стакан и с поклоном протянула мне.

— Выпей да выздоравливай, батюшка.— Монумен- тальное лицо ее вдруг расплылось в таких материн- ских морщинках, что что-то жало мне ребра, и я смог только через минуту сказать:

— Водки так водки. Помогло бы.

То ли от водки, то ли от нагретых ног жилка утих- ла, звон кончился, боль в пояснице лишь слабо по- скуливала, было благостно, ясно. Евдокия, поскрипев в горнице кроватью, затихла. Я, лежа в мешке, до- садую, злясь, не мог все-таки отвязаться от того, что называл «интеллигентщиной». О доброте деревен- ских старух, о том, что вот спросить бы совет, «как жить» и действительно это выполнить. Мысли такие и разговорчики и литературу о величии крестьян- ской души я не любил. Все это стало нынешней мо- дой и шло, по-моему, как отголосок давних пере- живаний русского барства, ничего общего с дейст- вительным уважением народа не имело. Я это чув- ствовал по себе, потому что, когда делил кров и хлеб с леспромхозовскими мужиками, все было про- ще, по-человечески. И в мыслях ведь не было, что я могу нашей секретарше Ленокке привезти в подарок лапти. А ведь привез в позапрошлом году. Именно я. Последними мыслями было: остро- ва... диссертация... Никитенко...

...День выдался погожий и тихий. Наверное, он от- стал где-то от бабьего лета и теперь нагонял своих. Мы спустили на воду ветхий карбас. С воды изба казалась вовсе старенькой, покосившейся набок.

— Келья-то у меня худа, карбас-то старенький,— сказала Евдокия, погружая в лодку веревки, костыли для плота и зачем-то тяжелый таз.— Доживу—и раз- валится.

...Вода в реке была черной, осенней и тихой. Оке- ан находился рядом, и река исчерпала себя. Под не- торопливый стук мотора мы тихонько плыли вниз. Собака свернулась калачиком на носу лодки, я си- дел посредине, Евдокия держала руль. Солнце бес- пощадно просвечивало морщины, и в лице ее было больше монументальной мужицкой твердости, даже больше, чем тогда на крыльце. Она же, как бы в противовес моим мыслям, посмеялась, прикрыв рот ладонью.

— Маленько-то я тебя омманула. Как услышала, костром от тебя пахнет, сил нет на острова захо- телось. Ведь мы там рыбачим! Сколько лет, сколь- ко весен... Летом-то лось с одного острова к дру- гому плывет. Ну плыви, плыви. Медведь плывет. Плыви-и. А он выйдет да еще около карбаса прой- дет туда-сюда. «Уходи!» — крикнешь. Слушается. Знает, если я скажу,— все!

Острова торчали над поверхностью моря, как по- душечки пальцев гигантской гранитной ладони. Лес на некоторых из них действительно рос. Но человек, рассказавший мне об этих соснах среди моря, не был лесным инженером, и потому информация его, пожалуй, больше отражала состояние души, чем дей- ствительные размеры сосен.

Все это я понял еще издали. Мы стали собирать плавник.

Ободренные морем гладкие и тяжелые стволы белой полосой тянулись по черте осенних штормов. Я носил деревья и сбрасывал их в воду, а Евдокия, подтянув голенища рыбацких сапог, подоткнув юб- ку, размашисто вгоняла в них костыли, крепила ве- ревкой. Работа как-то оживила ее, и Евдокия, разо- гнувшись, кричала мне на берег:

— Молода-то я была здоровь-а! Строевой лес но- сила. Веришь?

К ночи мы собрали два хороших плота. Евдокия умело ссалила их и, устало загребая по мелководью, буксиром потянула в соседнюю бухточку — вдруг ночью сменится ветер.

Странная была эта картина: закат, белая, как жесть, равнина моря с красными отблесками на го- ризонте, согнувшаяся в буксирной лямке Евдокия, и за ней покорно тащились плоты.

Ночь была ясная. Мы сварили в котелке соленой трески — излюбленной здешней пищи, и я, умаяв- шись с плавником, быстро заснул. Звон и биение жилки не возобновлялись, а может, и совсем оста- вили меня, когда я увидел на островах обычный лес, к которому незачем было ехать. Как-то пусто и обы- денно прошел конец научной карьеры.

Проснулся я неожиданно. Евдокия сидела у кост- ра и молча раскачивалась. Лешачьи тени от огня прыгали по ее лицу, огромная была фигура, огром- ны ладони на коленях и огромны ступни, которые почему-то она держала в тазу, который утром еще положила в карбас.

И, еще полусонный, я вдруг понял, что все-таки мне суждено услышать от этой странной старухи необходимую истину жизни (втайне я все-таки этого ждал) и я услышу это сейчас.

— Ноги-то у меня болят, хоть отруби да на дерево повесь, — по-детски жалобно произнесла Евдокия.— Я ведь почему в море стремлюсь. В морской-то рас- сол поставишь, так отпуска-ат. Врач говорит, мазь мне надо из пчелиного и змеиного яда. Иностранная мазь, где я, неграмотная, ее возьму?

— Бывает в аптеках.

— А то! Студенты-то в город зовут. «Бабушка, по-

едем». А я им про мазь молчу. Зачем старостью да болезнью ихнее веселье портить! Но ведь грешна! Люблю чай. Студенты-то чай привезут, дак спрячу. Им заварю, какой в нашем сельпо продают. Ну, чистый жадина! Ведь пакки-то одинаковы, а мне городской слаще.

Море лежало совершенно беззвучно, луна заливала берег светом, и за спиной тихо-мирно пошумливали сосны.

В каком-то диком приступе той самой «интеллигентщины» я вдруг сказал:

— Поставить бы здесь избу. И жить бы сто лет.

— А была,—равнодушно ответила Евдокия.—На том месте костер жжем. Неуж не заметил? Позапрошлом годе еще стояла.

— Вывезли?

— Сожгли русски люди. Пьяны напились да сожгли для потехи. Ничья была. Для всех. Летом-то ведь здесь большая дорога. И на лодках, и на байдарках, и всяко...

— Э-эх! — Я ругнулся.—Забором, что ли, леса огородить. Охрану поставить с оружием?

— Лес-то один не может стоять,—ровным голосом произнесла Евдокия.—Кто-нибудь должен по нему ходить, курлыкать. Петь да перекликаться. Без голосу лес-то засохнет, умрет.

Вот так. Все-таки как ни иронизировал я, как ни оберегался, но получил простодушный народный совет и мог в соответствующем случае произнести: «В одной дальней деревне девяностолетняя бабка сказала мне...»

Но как бы там ни было, эти звоны, и жилки, и страх сумасшествия — все это поблекло перед простой истиной: кто-то должен курлыкать в лесу. Без этого лес не может стоять. Почему в принципе курлыкать должен не я, а другие?

...Ровно через пять дней после того, как уехали лаборанты, я тоже сел в поезд и помчался к югу...

...Обстановка в институте была нехорошая, но это уже не имело значения. Вдобавок ушла жена. Это тоже было уже все равно, давно между нами стало ясно, что ей ни к чему неудачник. Я написал письмо в один дальний лесопитомник, где меня знали. Написал заявление об уходе и в ожидании ответа спрятал его в ящик стола на работе. А пока стал приводить в порядок собранные за семь лет материалы. Зря, что ли, курлыкали мы в мокрых ельниках? Кому-нибудь пригодится.

Жил я очень размеренно, часов до девяти вечера сидел на работе, дома варил суп из пакетика и ложился спать. Иногда заходил в кино и с огромным, даже странным вниманием смотрел любой фильм, какой подвернется.

Но вскоре опять начались странности. За графиками и таблицами я усмотрел небольшую, но дельную статью. Так сказать, напоследок. Потом она незаметно выросла в большую статью. И вдруг я почти с ужасом увидел в ней диссертацию. Как раз пришел ответ из лесопитомника. Место обещали весной. Я механически отнес заявление в приемную Г. П. Никитенко. Секретарша сидела с марлевой повязкой. Это ей я привозил лапти.

— Что с вами? — осведомился я.

— С луны? — сквозь повязку спросила она.—Гонконгский грипп, весь город болеет.

Я ужасно испугался гриппа: тогда я не успею закончить работу, никак мне нельзя было болеть. Помчался в аптеку и увидел вереницы людей у окошек. Действительно, весь город болел. У прилавков со стучными лекарствами не было никого, и на стекле сиротливо лежали ненужные никому тюбики с мазью из пчелиного и змеиного яда. В постыдном раскаянии я схватил их, и уж дальше больше — помчался

в главный гастроном, набрал пачек с чаем и помчался на почту. И лишь тут выяснил, что не знаю фамилии. Так и написал на адресе «бабушке Евдокии». Уговорил. Взяли.

События же вышли из-под моего контроля. Почему-то я миновал очередь на предварительную защиту, и Г. П. Никитенко сказал на ней: «Мы имеем пример скрупулезного сбора фактов без скороспелых, однако, выводов». После этого окончательная защита превращалась в формальность.

Пришло письмо от Евдокии. «...Пролила слезы. Ведь не стала просить, думала, забудешь. А не забыл! Вот плачу и плачу. Ты не обижайся, я об тебе думала много. Работа у тебя, наверное, почетистая, но глаз у тебя нехороший. Вроде сердцем начал грубеть. Ты не грубей. Как оно огрубеет, дак тяжело жить. Я знаю. Кругом русски люди, перед кем возноситься?..»

Я тоже смахнул что-то вроде слезы и твердым шагом пошел к Г. П. Никитенко. Напомнил о заявлении. Надо отдать ему должное, он не стал меня ни одобрять, ни уговаривать остаться. Только глянул из-за очков, точно сфотографировал изнутри, и зачем-то пожал мне руку мягкой ладонью. Через день на ученом совете с представителем министерства я услышал, что являю собой пример воспитания научных кадров. Бывалый производственник идет в институт, оформляет накопленный опыт в диссертацию и снова возвращается на любимое производство, ради которого все мы действуем и живем.

Еще через день у меня на квартире раздался звонок. Представитель ведомственной газеты с поручением написать обо мне развернутый очерк: «Портрет ученого-инженера». Это было уже лишнее. В дальних леспромахозах и лесопитомниках не любят газетной славы. Но оказалось, очерк уже готов, только не хватало деталей. Кстати, ни слова в нем не было о моем возвращении на производство. Позвонили с работы. Поздравили с тем, что я «попал в самую популярку», и какие-то слова о командировке в Австралию для ознакомления с эвкалиптами. Не успел я раздеться с журналистом, снова звонок в дверь — телеграмма, жена возвращается. Хотите верить, хотите нет. Я взял веник — в квартире за зиму ни разу не подметалось. Прибираюсь. Мысли у меня о тягостных разговорах с женой. Снова о том, как не быть олухом в середине XX века. Раз жена возвращается — значит, это точно насчет Австралии. Она всегда все обо мне знала лучше меня. Евдокия этот вопрос решила бы так: «В Австралии, поди, тоже русски люди живут. Лес тоже кверху растет. Чего не поехать?»

Слаб человек. Так где взять силу души, чтобы на старости лет получить кличку Студента? Таким, как я, не дано это. И надо ли?

И вот завершающая картинка: я, кандидат наук за поздалой выпечки, шаркаю веником среди случайно купленной мебели, случайно собранных книг в холостяцком разоре, жилка в левой половине головы вроде бы собирается ожить, а я думаю о том, что австралийские эвкалипты не будут давить на меня объединенным биопотенциалом, я для них человек случайный, пришлый, чужой, нет у них со мной ни прошлых, ни будущих счетов, нет претензий, которые, в идеале, может предъявить ко мне каждое дерево от Балтики до Тихого океана, смешно все это, конечно, и еще я думаю, как бы отнесли австралийские деревья к появлению моей жены или любой из ее подружек. Дело в том, что я отношу себя к той нации и тому государству, к которому относится Евдокия. Но к какой нации и стране принадлежит моя жена и подружки ее, я иногда, честное слово, не знаю.

устремляясь в гибельные выси...

Памяти Михаила Хергиани

Около пятнадцати лет тому назад главным общественным транспортом на окраинах государства были маленькие зеленые автобусы с расположенной впереди дверцей. Дверь эту водитель открывал длинным сверкающим рычагом.

Такие, всегда насмерть разбитые колымаги перевозили разнообразное население по памирским кручам, зимникам Чукотки, трассам таежных золотых приисков и прочим невероятным дорогам. Они и сейчас где-нибудь догромыхивают свой век среди «икарусов», маршрутных такси и дизельных мастодонтов с креслицами в белых чехлах.

До сих пор, как наяву, я слышу скрип разбитого кузова, дребезжание ходовой части и вижу бессмертный блеск дверного рычага, который, я уверен, сверкает, даже когда автобус везут на свалку. Хотя трудно представить себе этот автобус просто на свалке. Наверное, он гибнет, как ездовая собака: в упряжке.



Случилось так, что в первый свой «настоящий», полугодовой отпуск, полагавшийся после трех лет работы на Севере, я ехал именно на таком, хорошо знакомом по Северу доходяге. Впереди была не работа, а высокая гора Эльбрус, горные лыжи и солнце. Но я никак не мог отделаться от мысли о том, что делаю что-то не так. Мне казалось тогда, что к прославленным в почтовых открытках местам надо ехать иначе. Шикарнее, что ли...

Автобус катил по предгорной равнине. Небо казалось белесоватым от старости, а степь — темной, потому что овцы съели траву. Изредка виднелись и сами овцы. Они двигались куда-то на север в сопровождении чабанов, похожих в своих башлыках на по-

жилых коршунов. На завалинках около станичных магазинов сидели старики в плоских барашковых шапках и провожали автобус выцветшими, как небо над их головой, глазами.

Весь день впереди маячили горы. Издали снеговые вершины казались величественными до неправдоподобия. Вид их, можно сказать, потрясал. Особенно, если учесть, что ты родился и большую часть сознательной жизни провел на равнине, а с горами сталкивался случайно, как, допустим, в метро сталкиваешься со знаменитой актрисой.

Вид гор наводил на «вечные» мысли. Я вспомнил об одном древнем персе-огнепоклоннике. Тому веков тому назад он родился на пыльных равнинах Ирана, а когда пришла пора поразмыслить, то он ушел в горы. «В горах сердце его преобразовалось», — так антинаучно утверждает легенда.

В горах сердце его преобразовалось...

Сейчас, накопив кое-какой опыт общения с разным народом, я со всей ответственностью могу утверждать, что существуют люди, сердце которых от рождения преобразовано к высшей цели. Среди коловращения имен, лиц и событий они входят в твою память с точностью патрона, досланного в патронник. Как раз из таких и был Михаил Хергиани.

Ах, каким же красавцем он возник перед нашим смешанным обществом, состоявшим из двух физиков, изучавших несерьезную материю облаков, одной аспирантки, изучавшей математику, одного геолога, отпускника с Севера, изучавшего человечество (то был я), и младенца по имени Димка, изучавшего мир из своей коляски.

Мы размещались под ореховым деревом, дерево же росло внутри ограды, окружавшей территорию института с высокогорным названием, а было все это в южном городе Нальчике. Почва вокруг дерева была утоптана представителями разных наук. Альпинист Хергиани находился здесь, потому что работал в том институте инструктором альпинизма и горноспасателем.

Он появился, как цветное рекламное фото: лицо коричневое, свитер ярко-красный, брюки голубые. Черными были только усы и ботинки. На другом человеке все это выглядело бы излишне ярко или даже смешно, но ему было в самый раз, потому что он распространял вокруг себя эманацию физического здоровья и сдержанного достоинства. Он был одним из ведущих альпинистов мира и в 1960 году блестяще преодолел труднейшие скальные маршруты в Англии вместе с теми самыми англичанами, что когда-то изобрели альпинизм как спорт и знали шотландские скалы лучше собственных пяток. Кстати, потрясающий этот свитер (тоже согласно легенде) ему подарила одна англичанка, которая вначале была влюблена в скалолазание и альпинизм, а потом, естественно, в Мишу. Думается, что ту англичанку можно понять.

Прошло пятнадцать лет, но я помню тот день во всех его подробностях: и очень синее небо, и темную кору орехового дерева, и немногословный такой разговор, когда даже младенец Димка вел себя с чувством собственного достоинства.

В эмоциональном плане альпинизм сводился для меня к тощеньким книжечкам техники безопасности, которые начинались со слов «человек является ценнейшим достоянием». Было, впрочем, еще одно воспоминание. Мы работали в Киргизии на Таласском хребте. В одном маршруте я увидел, как тренируются фрунзенские альпинисты во всеоружии сверкающих триконей, карабинов, веревок и ледорубов, а мимо шлепал в маршрут Мика Балашов в резиновых сапогах и с геологическим молотком на обло-

манной ручке. Вот и сейчас меня мучает вопрос, почему он в горный маршрут ходил в резиновых сапогах? Мика Балашов был серьезным парнем и хорошим геологом, не из тех, что исповедуют принцип «умный в гору не пойдет». И пижоном его назвать было никак невозможно.

Меж тем за заборчиком института появились пестрые молодые люди и стали шептать страшными голосами: «Миш-ша! Послушай минутку, Миш-ша!» Они шептали и кивали в неизвестную манящую даль, где поблизости стояла машина, а дальше пряталось что-то уж совсем интересное. Хергиани извинился и пошел к ним. Молодые люди выпрямились и сразу стали очень мужчинами. Конечно, они были пижоны, а таких тянет к великим не изученная наукой сила. Может быть, они заимствуют часть силы великих людей, не знаю.

На другой день я сел в зеленый автобус, чтобы ехать в поселок под Эльбрусом, где люди катаются на горных лыжах. И весь день приближались горы. Здесь я должен дать пояснение. Я старался как можно меньше поддаваться эмоциональному воздействию гор, потому что наши ребята, те ребята, с которыми мы молились единым богам, мотались в тот момент на маленьком самолете АН-2 севернее Новосибирских островов, где есть точки островов Де-Лонга: остров Жаннетты, остров Генриетты и остров Жохова тоже там есть. Большинство жизненных проблем в те годы мы решали с простотой игры в шашки. Человечество делилось на «людей» и «пижонов», а география — на области, где жили «люди», а где «пижоны». Само собой разумеется, что «люди» жили севернее Полярного круга.

В тот солнечный день я ощутил первую трещину в нашей шашечной концепции мира. Сверкающие вершины все приближались, и вдоль дороги взметнулись сосны. Стволы, их хвоя казались отлитыми из тяжких металлов, а горы были теперь невесомыми, вроде чистой мечты.

Именно чистой, потому что обычно мечта все-таки имеет свой вес. Было ощущение, что в горах так же должны жить «люди». Не могут не жить в таком окружении.

...Комната, которую мне дали, оказалась очень хорошей. В окно лезла сосна, за сосной торчал пик Донгуз-Орун с ледяной шапкой на нем. Вершина ледника была розовой, а отвесная теневая стенка — темно-зеленой. Было тихо и грустно. Я вышел на крыльцо. Прошла шумная кучка туристов в мешковатых штормовках. «Альпинизм — лучший отдых» — возвещал подпорченный дождями плакат. В сторонке сидел на камне невероятной черноты парень и пел популярную песню: «Чем дальше в горы, пиво тем дороже, а мы без пива жить никак не можем».

Вечером приехал Хергиани. Видно, в горах и предгорьях он был вездесущ. Комната у него была рядом с моей. Стенки ее были увешаны орографическими схемами Гималаев. Гора Джомолунгма была обведена на схеме красным кружком. В ту пору легендарное восхождение Тенцинга и Хиллари уже состоялось и великолепная книга Тенцинга «Тигр снегов» уже была переведена на русский язык. Готовилась русская экспедиция на Джомолунгму, и, конечно, Хергиани числился в ее списках под номером первым. Карты всякого рода были с детства моим увлечением, а потом превратились в профессию. В тот вечер мы долго рассматривали линии горных хребтов с манящими, как сказка, названиями.

В этих разговорах у карты у меня сложилась личная концепция альпинизма. В основе своей эта концепция имела нестандартный взгляд Хергиани, где поровну смешивалась ребячья тоска по игрушке и



умудренность философа, понявшего к старости лет невозможность познать до конца даже простые вещи. Но об этом чуть дальше.

Трасса здесь открылась недавно, и горнолыжник был скромный. После недавних соревнований осталось несколько мастеров, отработавших скоростной спуск, и еще была серая масса, которая маялась на непослушных склонах, а чаще стояла, задрав голову к солнцу, как новомодные, в темных очках, солнцепоклонники.

Ежедневно около часа дня раздавался предупреждающий крик, махали палками, все выстраивались по бокам склона и смотрели вверх, откуда вылетали в свисте разорванного воздуха мастера. Шлем, темные очки и воздушный свист — до чего ж это было красиво! Если мастера и делали показуху, то настоящую.

Склон оживал, и солнцепоклонники с новой силой начинали утешать его, надеясь хотя бы в мечтах приблизиться к непостижимой и рискованной красоте горнолыжного спуска. Здесь была своя шкала ценностей, иронизирующие же снобы сюда еще не добрались, предпочитая более легкие места для упражнений в иронии.

...На Север я укатил обогащенный принципом, который Миша Хергиани преподавал мне, когда взялся учить горнолыжной технике. Принцип заключался в том, что когда склон крут и тебе страшно, надо еще больше падать на носки лыж, ломая страх, — и будет нормально. До сих пор не знаю, насколько правилен этот принцип с точки зрения горнолыжной техники, но мне он помог. Я не то, чтобы просто его

запомнил, я включил его в сборник заповедей и увез с собой, когда возвращался из отпуска.

В бесснежных местах Арктики, где снег или выдут ветрами или спрессован в заструги, больше похожие на пластмассу, я часто вспоминал, как в горах сейчас снег идет крупными хлопьями, ветки сосенгибаются под его тяжестью, стряхивают и потом качаются долго и облегченно. Говорят, что именно вид сосен, стряхивающих снег, натолкнул основателя борьбы дзю-до на принцип этой борьбы. «Поддаться, чтобы победить».

Принципы, по которым жили в бесснежных местах Арктики, были другими. По тем принципам тебе прощало все или многое, кроме дешевки в работе, трусости и жизненного слюнтяйства. Если же ты имел глупость это допустить, то автоматически становился вне общества, будь то на дружеской выпивке или в вечерней беседе о мироздании. В общем, «вперед и прямо». Ей-богу, остается удивляться лишь, как мы, будучи уже инженерами, ухитрились сохранить чистоту и наивность семиклассника.

...В следующий раз я видел Хергиани через три года. Он изменился. Теперь уже не надо было думать о том, что этот человек не способен на показуху. В нем появилась твердость, которая приходит к мужчине, когда цель жизни ему точно известна и средства для ее достижения есть. Конечно, я читал «Советский спорт» и знал, что советская экспедиция на Джомолунгму не состоялась и вряд ли состоится в ближайшие годы. Знал я и о выступлении Хергиани за границей. Он и Иосиф Кахиани, неизменный напарник в связке, получили звание «тигров скал» и еще они стали членами «Ассоциации шерпов-альпинистов». Эта встреча была мимолетной, о чем я до сих пор жалею.

Прошло еще три года, и я насовсем уехал из Арктики. В Терсколе же все изменилось. Торчали здания стеклянных гостиниц с хорошими, как говорят, бытовыми условиями, работали два подъемника у подножия склона, на длинных шестах полоскались спортивные флаги, и репродуктор хрипел фамилиями и цифрами — шли соревнования. Всюду было шумно от транзитной техники и очень пестро от разноцветной синтетики и яркого лака лыж. А люди на склонах теперь делились на две категории: «эт-ти туристы» и «мастера».

Миша Хергиани погиб очень далеко отсюда — в итальянских Доломитовых Альпах. Об этом достаточно много писали газеты. Я все пытался выяснить, как и почему он погиб. Ей-богу, это было необходимо. Необходим был последний штрих, чтобы получился вывод, не ясный в то время еще мне самому. Ибо жизнь спустя десять лет из упрощенной, черно-белой шашечной плоскости перешла в более распливчатые и сложные категории.

Никто мне не мог толком на это ответить. Наверное, потому, что вопросы мои были невнятные.

То, что он выбрал сложнейший скальный маршрут, — так на то он и был Хергиани. И то, что был камнепад, перебивший страховочную веревку, — так это случайность, от которой не гарантирован ни один человек, и альпинист особенно. Люди, с веранды альпинистского отеля следившие за восхождением, видели, как падал вниз один из лучших альпинистов планеты, всю жизнь стремившийся вверх. Ничего они не могли сделать.

Еще проявило потрясающую оперативность итальянское телевидение, сообщившее о гибели «знаменитого Хергиани» чуть ли не в тот момент, когда тело его упало с высоты шестисот метров.

Похоронили его в Сванетии. И «вся Сванетия», как говорят очевидцы, собралась, чтобы почтить память «тигра скал».

Осталась вершина имени Михаила Хергиани, приз скалолазов его имени и мемориальная доска в одном из альплагерей.

На этом я кончу заупокойные перечисления. В памяти у меня он остался таким, как десять лет назад: очень знаменитый и яркий, со странным взглядом, где смешивались печаль и ребячий азарт.

...И все-таки был высший смысл. Встречаясь с людьми, которые знали его гораздо лучше меня, потому что вместе делили досуг и опасность, я столкнулся с тем, что не так уж часто бывает. Никто не кричал «я был его другом», никто не примазывался к его славе. Люди держали память о нем бережно, как держат в ладони тропетного живого птенца.

Наверное, альпинизм нельзя считать спортом в чистом его виде. В нем есть элемент риска, который очищает души людей, и есть тот самый «момент истины», о котором писал Хемингуэй. Наверное, альпинизм больше сходен с человеческой жизнью вообще, чем со спортом, если, конечно, речь идет о том случае, когда человек решил жизнь прожить, а не прожечь, или, что еще хуже, просуществовать. В горах преобразовалось его сердце...

...В этом году я поздно приехал в Терскол, а весна была ранней. И как-то в один из дней, когда солнце было чересчур ярким и очень громко вопил чей-то магнитофон, я не стал надевать лыжи, не стал в очередь к подъемнику, а просто так поднялся на то место, где Миша Хергиани учил когда-то наивного суперполярника падать на носки лыж и тем самым ломать страх. Победить, не поддаваясь. Это был как бы его личный подарок мне.

Здесь было тихо, стояли сосны. И я явственно услышал, как замкнулся круг времени, как мы закрываем дверь, переходя из одной комнаты в другую. Был высший смысл, был «момент истины». Горы будут горами, сколько их ни глянувший на открытках, и, в каких бы неожиданных сочетаниях ни шло коловращение лиц и имен, где-то среди этих лиц попадутся бывшие или теперешние самолюбимые мальчики, которым снятся гибельные выси и которым суждено стать знаменитыми. За Полярным кругом работают другие двадцатипятилетние, а те, с кем молились единым богам, сейчас уже обрастают учеными степенями и должностями. Прислонившись к теплой от солнца сосне, я верил, что должности, звания и комфорт не погасят в нас священный огонь, горевший во времена, когда мир казался нам сосредоточенным за Полярным кругом.

Я пошел к Иосифу, члену знаменитого тандема Кахиани — Хергиани, или Хергиани — Кахиани, как будет угодно читателю. Иосиф Кахиани, этот второй член «Ассоциации шерпов-альпинистов», поздоровался со мной очень торжественно, по принятому у нас шутивому ритуалу. Ритуал этот мы взяли из писем, которые пишут старому мудрому Иосифу один английский лорд и одна известная альпинистка Великобритании. Иосиф поставил чайник, и мы в сотый раз стали обсуждать, как осенью поедем на кабанов и что для этого надо иметь.

...О Мише Хергиани Иосиф говорит редко. Иосиф был действительно его другом, старшим по возрасту и опыту, и, наверное, не может простить, что его не было тогда в Доломитовых Альпах, ибо его опыт и нюх солдата всегда вовремя сдерживали экспансивного Хергиани. И вообще Иосиф предпочитал вспоминать разные смешные истории, которые с ними случались дома и за рубежом. Только однажды он добавил в перечисление того, что Миша оставил, людей, которых спас Хергиани. Их было много, кого спас или они спасли вместе с Иосифом.

Есть фотография, на которой стоят два человека: Тенцинг и Хергиани. Где-то на заднем фоне — гора

Эльбрус. Фотографию эту многие знают, но не все знают, что когда Тенцинг был гостем в Советском Союзе и они поднимались на Эльбрус. Миша ночью поднялся по склону высочайшей вершины Европы и вырубил на леднике гигантские буквы «Добро пожаловать, Тенцинг». Наверное, и сам Тенцинг не знает этого, потому что ночью пошел снег и все завалило.

Еще одна фотография висит у меня дома. На ней очень парадный, при полном наборе военных и спортивных наград, Иосиф Кахиани. Я всегда улыбаюсь, когда смотрю на нее, потому что знаю: за всем этим парадом, блеском, медалями этими — просто мудрый и насмешливый Иосиф, и даже блеск стекла не может скрыть лукавой доброты этого человека. Такая доброта свойственна только людям, часто видящим смерть и потому лучше других знающим цену суете, мишуре — всему, что в начале рассказа я по-жаргонному назвал показухой. Еще лучше меня это чувствуют дети, которые льнут к Иосифу Кахиани, наверное, потому, что в их крохотных сердцах заложены будущие сердца мужчин.

Еще я не могу без улыбки смотреть на эту фотографию потому, что вспоминаю обязательно случайно, свидетелем которого недавно я был. Мы поднялись с Иосифом Кахиани на Чегет. Группа из дома отдыха, в тяжких пальто и шапках, внимательно слушала экскурсовода, который показывал им страшную отвесную стену горы Донгуз-Орун и рассказывал, как два знаменитых альпиниста Хергиани и Кахиани совершили восхождение именно по этой отвесной стене.

— Толщина ледяной шапки шестьдесят метров, уклон отрицательный, — объяснял экскурсовод.

Женщины тихо ахали, мужчины делали каменное лицо. Иосиф подошел поближе, ему было интересно послушать о себе самом.

— Из нашей группы? — шепотом спросило Иосифа ратиновое пальто.

— Нет, — замялся Иосиф.

— Тогда топай к своей группе, нечего тут примакиваться.

— Послушать интересно, — смиренно сказал Иосиф.

— Всем интересно. Но тебе, дед, это уже ни к чему. Топай к своим гипертоникам. Поднимают тут всяких!.. Горы есть горы. Тут всяким нечего делать. — Пальто отвернулось за голосом экскурсовода, как подсолнух за солнцем. Теперь им рассказывали про Эльбрус.

Не знаю, может, в этом и есть слава, когда человеку подробно объясняют, что он сам совершил, ибо свершенное уже начинает существовать самостоятельно и отдельно. А может, в том, когда люди держат о тебе память бережно, как живого птенца, или в том, что ты входишь в память случайно встреченных, как точно подогнанный каменный блок. В теперешнем цикле развития я все еще верю в урок Хергиани: падать прямо в опасность, ломая страх и тем самым — себя. Но истинно это или нет, я не могу сказать. Просто верю.

Была еще завершающая точка. В тот день, когда я уезжал из Терскола, здесь открывался международный симпозиум физиков-ядерщиков. По шоссе, к научному центру МГУ, пронеслись шикарные автобусы «Интуриста». Я стоял у обочины и думал о том, как бы пристроиться на один из них, чтобы с комфортом и быстро докатить до Минвод. Но автобусы все пронеслись и пронеслись в мягком клочковании мощных моторов. И вдруг сзади я услышал скрип тормоза и какой-то очень знакомый ляг. Я оглянулся и увидел бессмертный зеленый автобус с гостеприимно открытой дверцей. Лицо шофера было знакомым, но я не мог точно вспомнить его.

— Уезжаешь? — спросил он. — Садись.

И мы неспешно покатали вниз. Автобус на ходу раскачивался и жизнерадостно дребезжал, точно рассказывал анекдоты из длинной дорожной жизни.

ОТ РЕДАКЦИИ

Вот судьба! Эти рассказы «Юность» получила за два дня до смерти Олега Куваева, хорошего русского писателя, только что начинавшего набирать в литературе большую силу. Они пришли к нам с письмом, где Олег Куваев — человек, который на своем коротком веку немало попутешествовал по советской земле, — делился своей заветной мечтой: уже не как географ, не как геолог, а как писатель (на этот раз с путевкой «Юности») снова попутешествовать по любимому им Северу, где, как ему казалось, и не без основания казалось, «особенно видны приметы нашего бурного, нелегкого творческого века».

В письме своем он извещал редакцию, что пишет для нас повесть. А к письму прилагал проект затейливой им литературной экспедиции на яхте под названием «Юность» вдоль известного уже ему северного побережья страны.

Все было: и мечты дать серию новелл на темы задуманной экспедиции (интереснейшая могла бы получиться серия),

и расчеты, и маршрут, и даже смета на постройку этого судна.

Пересылая нам рассказы, Куваев писал, и это тоже для него как человека и литератора характерно: «...Скидки на «симпатичность» автора, на значительность темы могут быть для меня и вредны. Таков, так сказать, «юношеский максимализм» сорокалетнего мужика».

Олег Куваев был реалист в лучшем смысле этого слова. Он не хотел плыть на парусах конъюнктуры и требовал строгого, но справедливого отношения к себе и своему творчеству.

Увы, и обещанную им повесть читатель уже не прочтет и суденышко с поэтическим названием «Юность» не отправится в интереснейший рейс.

Ну что же, мы последовали совету автора и из трех рассказов рекомендуем читателям два. Мы публикуем их, выражая огромное сожаление о том, что незаурядный его талант оборвался в дни своего настоящего расцвета.



ЮНОСТЬ

8

1975

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Василий АФОНИН. В деревне Юрга. Рассказы 2

Олег КУВАЕВ. Два рассказа: Надо курлыкать. Устремляясь в гибельные выси... 24

Алексей ДИДУРОВ. Санитар-полковник Петрович. Рассказ 36

Аркадий АДАМОВ. Петля. Роман. Окончание 40

ПОЭЗИЯ

Борис СЛУЦКИЙ. Отцы и сыновья. Текст и музыка. Самый старый долг. Александр Сергеевич. Перрон. Голосок на пляже 21

Юрий РЯШЕНЦЕВ. Ночь на берегу моря. Возвращение в Литву. Случайная встреча со старым другом 29 февраля на Касьяновы именины

Татьяна КУЗОВЛЕВА. «Теплый дождь—июльская улада...». «Земля просыпалась неспешно...». «Я не смею в сны твои проникнуть...». «О мое неуклюжее чадо...». «Приходит время новой сини...».

Алексей ПЬЯНОВ. Давай поговорим о кораблях. «Еще не тронут лед на речках...». «Уже нигде и никогда...». «Я знаю: легкая удача...»

Маро МАРКАРЯН. «Меня не слышишь ты...». «Придет весна, деревья зацветут...». «Кто знает...». «Быть может, иногда...». «Ты придешь с другой планеты...». Перевел с армянского Д. Самойлов

Вадим СИКОРСКИЙ. Потомкам. Накануне боя. «В когтях у чайки, перед смертью...». «Как ни сильно мое воображение...»

Михаил ПОЗДНЯЕВ. Ода кухонной полке. Царскосельское рисование

Флор ВАСИЛЬЕВ. «О Родина! Ты у меня одна...». «На луговине нежатся цветы...». «А поле спит давным-давно...». Перевели с удмуртского А. Жигулин и Т. Кузовлева

КРИТИКА

Иван КУПЦОВ. Рядом с художником (К нашей вкладке)

Вениамин КАВЕРИН. Молодой Зоценко (Встречи)

Эрнст ГЕНРИ. Причина предательства

А. РУДЕНКО. Учитель

ПУБЛИЦИСТИКА

Семен ГЕРШБЕРГ. И наступило утро...

Инна КОШЕЛЕВА. Выбор

Ф. АЛЕКСЕЕВ. Тюменская проба (На стендах «Юности»)

Дорога. Сибирская подшефная — глазами иностранцев

Николай ЧЕРКАШИН. Над океаном

Юлий ИКОННИКОВ. Поездна в прошлое

Откуда такое высокомерие?

ПИСЬМО АВГУСТА

СПОРТ

Владимир МАСЛАЧЕНКО. Я остаюсь в воротах

ЗАМЕТКИ

И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Л. ЯНОВСКАЯ. «Куда я, туда и он со своим тромбоном»

Четыре года спустя

В. БЕРЕНДЕЕВ. Бабушки за дизайн!

Семен КОМИССАРЕНКО. Первое свидание

Мини-юм

Александр КУРЛЯНДСКИЙ. Левая нога

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,
22 В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
34 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
35 К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
63 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
73 Ю. А. Цишевский.

Технический редактор
97 Л. К. Зябкина.

На 1—4-й стр. обложки
66 рисунок И. НЕЧАЕВА.

Адрес редакции:
78 101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции 251-32-83.
84 Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 28/V—1975 г.
92 А 05080.
97 Подп. к печ. 10/VII—1975 г.
101 Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
102 Тираж 2 600 000 экз.
Изд. № 1758. Заказ № 677.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
109 Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
110 125865, Москва, А-47, ГСП,
110 ул. «Правды», 24.



Цена 40 коп.

Индекс
71120